

A photograph of a tabby cat climbing a tree trunk. The cat is positioned vertically, with its head at the bottom left and its body extending upwards. The tree trunk is dark brown and textured. Numerous bare, thin branches crisscross the frame, creating a complex web of lines. The background is a warm, golden-yellow color, suggesting a sunset or sunrise. The overall mood is serene and natural.

*Наталья
Веселова*

*Друг
мой,
кот...*

Наталья Веселова

Друг мой, кот...

«Автор»

2012

Веселова Н. А.

Друг мой, кот... / Н. А. Веселова — «Автор», 2012

Между двумя зрелыми, много пережившими людьми, скульптором и журналисткой, зарождается позднее чувство. Но за ними кто-то постоянно наблюдает. Кто бы это мог быть? Герои не могут понять, к чему эта странная слежка. Они не знают, что одного из них готовятся казнить за страшное преступление, не имеющее срока давности...

Наталья Веселова

Друг мой, кот...

*Роса войны багрова и густа
И оседает на телах погибших.
Смерть начинается с чистого листа
И сочетает бывших и не бывших.*

А. Маничев

*И, это видя, помни: нет цены
Свиданьям, дни которых сочтены.*

В. Шекспир, сонет 73,
перевод Б. Пастернака

Пролог
Друг мой, кот,

знаешь, я умираю. Так просто: красное вспухло перед глазами, стало багровым и нестерпимо ярким на секунду, потом провалью черным – и снова все четко и объемно. Кажется, еще более четко и объемно, чем раньше. Ну, правильно, так и должно быть после смерти. Ты шерсть свою не подпалишь: умный, близко к кострищу не подходишь. А я уже над ним и наблюдаю сверху – как и написано во всех книгах, которые мне пришлось прочитать про начало Посмертия. Я странным образом не боюсь, потому что меня никто пока не встречает и не прошла еще первая ошарашенность: ведь только повернулся ключ – и... Седой человек, что потешно мечется вокруг места очередного городского аутодафе, мне неинтересен, как и другой, лежащий теперь вниз своим так напугавшим меня в последний миг лицом: какая разница теперь, ведь все равно остановить это они не сумели... А ты, друг мой, вышел из подвала все-таки на секунду раньше, чем было сделано то, последнее движение. Может быть, ты тоже – знал и хотел спасти? Какое счастье, что удалось успеть тебя заметить и порадоваться – твоей чудной озабоченной морде. Прощай, настоящий преданный товарищ, больше не встретимся: мы на том рубеже, где пути человека и кота расходятся... Казалось бы – как не вовремя умирать, когда жизнь едва-едва собралась начаться... Но какое странное безразличие к ней, навсегда покидаемой! Жаль, конечно, что хотя бы не завтра утром. Нет, вот завтра утром как раз могло быть жаль – и как еще! Хорошо, что сегодня. Пусть так... А-а, вот и первые зеваки тянутся – конечно, даже ночью как пропустить такой аттракцион... Господи, что это еще! Люди, да остановите же ее кто-нибудь! Девочка бежит... по парапету, сейчас упадет в Неву! Помогите! Ах, ну да, конечно же, теперь никто не услышит... А она ловко так бежит, даже не балансирует, хотя такая маленькая, лет шести, кажется... И коса летит, и платьице... Боже, да это та самая... коса... и платьице...

Все. Конец. Здесь не зажмуришься – хочешь не хочешь – смотри... Вот и встретили. Надо же, а еще не страшно было... Зря.

Глава первая
Он терпеть не мог журналюг

и крупных женщин. А эта совмещала в себе и то, и другое. Зато он любил выющиеся волосы по плечам и ясные серые глаза без примеси русалочьей зелени или подлой голубизны. Волосы и глаза именно того типа, какой ему нравился, журналистка тоже совмещала, поэтому, когда она вошла, сняла вязаную ажурными цветами шапочку, с уверенностью самовлюбленной женщины тряхнула волосами и с заученной открытостью глянула ему прямо в зрачки, Скульптор вздрогнул душой. В течение следующих полутора часов он так и не решил для себя, нравится ему эта случайная Гостья или нет, притягивает или отталкивает. Она будоражила. Не по-доброму, не солнечно, как бывает у светлых женщин, в которых раньше готов был одним залпом влюбляться, а как... Скульптор не мог подобрать сравнения... Вот, скажем, как чуть надорванная корочка запекшейся крови на разбитой и поджившей коленке: так сладко и больно ковырять ее, поддевать ногтем – но едва глубже подцепишь, потащишь вверх – и боль уже жгучая, невыносимая... И ведь знаешь это – а руки так и тянутся... Вот она какая была, эта Гостья... Противная, неуклюжая, с притворно-оптимистичным уханьем больно ударявшаяся мягким бедром обо все подряд острые углы, с неприятно-хищной, парадоксально не красивой, а уродовавшей ее улыбкой – и совсем неожиданно милая, с беззащитным взглядом светлых глаз фарфоровой немецкой куклы, с низким ласковым голосом, вдруг трогательно выдвигавшая скромную нижнюю губку у края кружки с кофе – чтобы сдуть с правой брови упрямую светлую кудрю.

Внештатная корреспондентка, как немедленно сама себя отрекомендовала, толстого культурного журнала (назвалась еще фрилансером – а его передернуло), Гостья пришла к Скульптору по просьбе его давнего приятеля и коллеги, о котором тоже в свое время напечатала довольно вразумительную статью на четырех полосах с вполне приемлемыми, даже похвально нестандартными фотографиями. Приятель похлопотал, чтоб и ему лишний раз засветиться в глянцево-прессе. «А почему внештатная? – усмехнулся тогда Скульптор. – На постоянную работу не берут за бездарностью? Или за гордостью? Дать, что ли, кому следует, брезгует?». Тот ответил, что не знает, но вроде, баба сама не хочет, типа, независимая слишком, а в деньгах особо не нуждается: муж содержит; да и детей двое – парни, им ведь тоже внимание требуется... В тот день Скульптор о ней впервые подумал – и с неудовольствием: раз журналистка, значит, Университет закончила, пять лет государство на нее деньги тратило, учило качественно и бесплатно; а она – порх замуж – и теперь не то домохозяйка через пень колоду, не то репортерка от случая к случаю; в результате – ни в семье порядка, ни обществу пользы... А она, небось, вся из себя «нестандартная», «творческая натура», никем не понятая, особенно мужем-кровопийцей... Тьфу. А сидела бы с самого начала на своем месте и не рыпалась с амбициями – так была бы хоть Жена и Мать. Вот именно так – с большой буквы. Как извечно от Бога положено... Вздохнул тогда и забыл, пока не позвонила и не напомнила про статью. Он как раз заканчивал памятник Столыпину – без формы лепил, набело руками мял терракоту – а заказчик отказался еще в самом начале и, косноязычно извинившись «Христа ради», трубку быстренько положил. Хорошо хоть аванс назад не потребовал, совесть не позволила. А работа уж захватила Скульптора, словно в снежную лавину попал – и не так даже работа, как личность изображаемого. Сколько перечитал про него, передумал – у самого душа изболелась. Не мог теперь «приостановить» работу, как предложили: для себя уж работал, не для денег. Пусть будет готов памятник, и, как только деньги, чтоб в бронзе отлить, всплывут откуда-нибудь... Никогда ведь не знаешь. Он и за труд не возьмет – лишь бы поставили где-то, чтоб люди смотрели и думали... Хоть бы чуть-чуть думали головами своими... Впрочем, в Петербурге ведь не поставят же его – чай, не Шемякин, дегенератов-микроцефалов не ваяет, чтоб в Петропавловке на позор выставлять. А в том городке, Ж-ранске каком-нибудь, где гипотетически и могут поставить – Христа ради опять же – там людям есть, о чем подумать, кроме как о Петре Аркадьевиче. Как сегодня не сдохнуть. Как сделать так, чтоб и завтра еще

пожрать... Какая там «великая Россия», блин... Эх, невеселые мысли были у Скульптора в тот день, когда Гостья со своим диктофоном к нему пожаловала...

Он опять не мог разобраться – с удовольствием или неприязнью следит за тем, как она непринужденно двигается по мастерской, женственно наклоняется, чтобы что-то разглядеть, нежно прикасается к готовым скульптурам, глядя в их пустые глаза, как живым людям, словно ожидая ответного взгляда, инстинктивно материнским движением, не истребимым ни в какой женщине, гладит их гипсовые и глиняные головы... Но вот Гостья приблизилась к Петру Аркадьевичу – и Скульптор подумал, что не узнает в лицо, он не из круга интересов таких утонченных дамочек... Она пристально смотрела не менее трех минут – лицо-то он уже проработал до тонкостей, самому приятно было – и вдруг сразила нездешним, невместным каким-то суждением:

– Знаете, а ведь Рай, наверное, именно такими вот людьми полон. Настоящими, я имею в виду.

«Нет, она мне, конечно, скорее нравится, – быстро подумал Скульптор. – Не все с ней так просто, как сначала показалось...».

– Я, собственно, обычно в это время обедаю, – вдруг неизвестно зачем соврал он. – Может, составите компанию?

– Ну... давайте. Не откажусь. А вы что, сами готовите? – невозмутимо отозвалась она.

Скульптор улыбнулся едва приметно, четко угадав в последней ее фразе неизменное женское желание на всякий случай узнать у мужчины без обручального кольца, женат ли он или, по крайней мере, имеет ли постоянную женщину, которая, как бы там ни было, а голодным не бросит. Он атавистически подыграл ей – тоже на всякий случай:

– Приходится... Привыкаешь со временем, знаете ли... – и одним властным жестом остановил ее смутный порыв куда-то в сторону, вроде как на помощь ему, несчастному: – Нет-нет, я сам. Вы – Гостья, так что отдыхайте.

Она вновь показала ему свою жесткую полуулыбку, которую сама, вероятно, считала обаятельной, потому что задержала на лице:

– Какое там отдыхайте, я на работе, интервью беру, между прочим...

Скульптор мгновенно погас, мысленно хлопнув себя по лбу: «Чего это я? Какой еще обед? И какое интервью, кстати? На кой мне надо это все на старости лет? Тут с этой только начни – и не заметишь, как огребешь по полной...». Но пойти теперь пятками назад – например, махнуть рукой и бодро так сказать что-то вроде – мол, действительно, не хочу вас задерживать, обед в следующий раз, а теперь берите ваше интервью и дуйте отсюда, мы оба с вами люди занятые – как сделал бы на его месте тот же приятель, Скульптор не мог по причине своей знаменитой и вечно осмеиваемой знакомыми стеснительности в присутствии женщин моложе восьмидесяти. Уныло потрусил на кухню – сунул в микроволновку позавчерашние котлеты из готовых, плеснул на сковородку масла, быстро покрошил вареной картошки... На тарелочку еще можно по ложке зеленого горошка... На вид не хуже, чем в средней руки кафе, а на вкус... Съест, не принцесса. Он человек простой, тигровыми креветками не питается, красной икры уже год не видел. Не от бедности, а из принципа: в стране народ миллионами мрет, а он тут будет перед капризными ранетками выпендриваться... Суп в кастрюльке – щи, совсем неплохие, между прочим. Сварил на куриных ножках, пену четверть часа снимал – брезглив потому что – капусты положил, лучку, моркови... Для густоты подсыпал рожков и ячки горстку. Ему в самый раз, а она уж пусть как хочет. Так, теперь хлеб нарезать, да без церемоний, не лепесточками... Поставил все на поднос и понес в комнату... Гостья подхватила, с подноса все быстренько на стол переставила, на тарелки посмотрела – и лицо стало непроницаемым. Он про себя усмехнулся: думает, наверное: «Как, Господи, я все это есть сейчас буду?!». Вот так-то, а ты что, милочка, думала – я тебе сейчас омаров под белым соусом подам? Весело стало Скульптору: Гостья смотрелась теперь совершенной жертвой и вновь стала симпатичной, мило, но не

особенно старательно скрывая растерянность, словно всем видом нарочно говоря: «Я, конечно, эдакой дрянью отродясь не пробовала, но придется давиться, да еще и виду не показывать. Я слишком хорошо воспитана, чтобы обижать людей. Нужно вести себя просто, дружелюбно и естественно. Пакость эту съесть и похвалить. Но только так, чтобы он понял, гад, – нет, лучше не понял, а почувствовал – что я такое ем исключительно из великодушия...». Она решительно взялась за ложку, упорно играя роль снисходительной аристократки в гостях у непонятливого плебея – но тут ложка со звоном полетела на пол, а Гостя изумленно вскрикнула: к ней на колени беззвучно вскочил, как взлетел, матерый черный с белым кот по кличке Червонец.

Десять лет назад за такие деньги еще можно было купить бутылку дешевого пива, а черно-белый слепой котенок размером с некрупную мышь, допискивавший свое на заскорузлой ладони вылезшего рано утром на свет Божий хрестоматийного питерского бомжа, уже имел мало шансов дожить до полудня. «Червонец, мужик, а? – с надеждой прогугнил бомж. – Хороший кот, породистый...». В котолюбителях Скульптор себя особенно не числил, но тут вдруг вспомнил про Жену: она бы... Он быстро сунул в грязный кулак мужика зеленую десятку и, ладонями накрыв, бросился с котенком обратно домой, вдруг болезненно испугавшись, что тот умрет по дороге. Червонец не умер, продержавшись, вероятно, на кончике своей девятой жизни. Скульптор терпеливо вскармливал его две недели молоком из пипетки, пристроил в обувной коробке под самую батарею, а на ночь давал пососать кончик своего мизинца – и тогда, пощечьями поскуливая, малыш засыпал, для надежности обхватив его палец крошечными глянцево-черными лапками в белых «рукавичках». Еще белого в нем было – звездочка во лбу, как у теленка, да полоска вдоль животика, а так весь черный и совсем не пушистый, короткошерстный... Словом, Скульптор полюбил Червонца, и оказался для него главным Существом в мире, вроде божества, а Червонец стал ему другом, каким может быть только кот, в отличие от жалкой собаки, которая на самом деле не больше, чем раб...

Скульптор всегда думал, что среди животных, как и среди людей, бывают более и менее одаренные особи – дух Божий дышит и среди неразумных тварей, и до них милостиво снисходя. И если случаются среди котов гении, то Червонец оказался именно из таких. Скульптор часто ловил себя на мысли, что заговори его кот однажды человеческим голосом – и он бы не удивился, настолько красноречивым был всегда его умный взгляд, разнообразными интонациями голоса, способного в одном дыхании измениться от самого низкого воркующего «мур-ра» до пронзительно-требовательного помойного рева. Он обладал тяжелой мужественной красотой крепко сбитого кряжистого парня, утонченными манерами покорителя сердец и безжалостной хваткой кошачьего хищника из африканской саванны. О том, чтобы такого красавца кастрировать, Скульптор и подумать не мог без холодной дрожи в собственном рудиментарном хвосте, а потому периодически, особенно по весне, когда тембр котовьего голоса изменялся особым, прекрасно известным каждому кошачнику образом, он иногда самолично отлавливал ему в подвале сговорчивую подругу и доставлял на дом, запирая парочку в ванной на целую долгую ночь. Утром он виновато кормил обесчещенную даму сухим кормом и отправлял восвояси под равнодушным взглядом пресытившегося товарища... Но Червонец все равно втайне тосковал об утерянном рае и неусыпно караулил входную и балконную двери, откуда тянуло пряными ветрами запретной воли, и, как ни бдел над ним обожающий хозяин-друг, иногда – нечасто, раза два в год, не больше – исхитрялся вырваться на желанную свободу, сполна вкусить ее опасных радостей... Как ни искал его Скульптор, как ни надрывался странным криком «Червонец!!! Черво-онец! Где ты, стервец?!», пугая детей во дворах и прохожих на набережной, кот объявлялся строго через трое суток у подъезда, где честно и без тени виноватости поджидал пострадавшего хозяина. Они замечали друг друга издали, и тогда происходила «мини-встреча на Эльбе»: каждый с радостным воем кидался к другому, и Скульптор распахивал объятия, куда с готовностью одним прыжком взмывал с земли мокрый, вонючий, блохастый, иногда порванный до крови, абсолютно счастливый Червонец, сразу начинавший истерически

мурчать на всю округу, страстно целуя друга в лицо... Он вообще любил и умел целоваться и делал это с налету, от всей широты бесхитростного сердца.

Вот и сейчас, понаблюдав из укрытия за Гостьей, он выскочил знакомиться с приглянувшейся женщиной, заявив о себе без всяких предварительных экивоков: просто и мягко вспрыгнул к ней на колени, не давая опомниться, обхватил за шею лапами и крепко поцеловал в напудренную и нарумяненную щеку: мол, вот он я, принимай, какой есть, ты мне нравишься! Да, конечно, в этом отношении проще быть котом, чем мужчиной... С посторонними людьми Червонец проделывал такое нечасто, блюдя строгий в этом отношении отбор, и отличался осторожностью в оценках: порой долго и пристрастно разглядывал гостя, обнюхивал с вежливого расстояния, прежде чем подставлял бархатную свою башку под осторожную человеческую руку. Влюблялся с первого взгляда, как сейчас, редко, но если уж такое с ним случалось, то взаимности требовал незамедлительной и адекватной. Скульптор испугался: сейчас она как завизжит – да за шкуру его и об стенку от неожиданности! Он подпрыгнул и метнулся на помощь обоим, умоляюще простирая руки и бормоча:

– Пшел, Червонец, чума такая!.. Вы извините, он у меня немножко... Но не кусается... То есть, не царапается... А ну-ка, иди сюда, невежа, сейчас я тебя по ушам! – наказывать, конечно, не собирался, но для виду изобразил негодование.

– Ах, нет! – вдруг почти пронзительно вскрикнула Гостья. – Позвольте ему еще у меня посидеть! Он ведь у вас – чудо! Какое же чудо! Слов нет!

Она на миг отстранила кота, любуясь, а потом вдруг тоже поцеловала – прямо в блаженную его шерстяную морду. И прижала к себе – без всякой ажитации, с искренним чувством.

«Котолюбительница...» – подумал Скульптор с той невольной симпатией, которая всегда охватывает человека, когда он сталкивается с другим, подверженным тем же нежным чувствам к подобным же существам, явлениям или занятиям.

– Вам никогда не казалось, – задумчиво лаская Червонца, проговорила вдруг она, – что лучший друг человека – вовсе не собака? Что в тех есть нечто уж слишком рабское... А вот кошки... Кошкина дружба дорогого стоит, вы так не думаете?

Он как раз именно так и думал, а Гостья в тот момент и не подозревала о том, что попросту мужика – добила, и все в ней, только что казавшееся неприятным, вдруг стало милым ему, причем, как-то именно через кошачью призму... Улыбка хищная – и что же? В ней есть что-то от львицы, а львица разве не хищник? Зато какой красивый! Крупная женщина, не хрупкая, хотя ему всю жизнь полуподростки нравились? Но разве красива тощая – кошка? Наоборот, нужно, чтобы она была гладкая, упитанная, лоснилась вся от довольства, лениво лежала, выкатив сытый бок... Вот точно как Гостья теперь с тяжелой грацией откинулась на спинку кресла, не выпуская из округлых объятий притихшего кота – хоть лепи ее прямо сейчас... Вьющиеся светлые волосы неспешно текут вдоль шеи, роняя на нее по пути золотые завитки, падают на мягкие плечи... Странное дело – а ведь любви с полной женщиной он никогда не пробовал – как-то вдруг с самого начала вбил себе в голову, что сексапильны только худенькие, у которых можно все косточки перебрать, – и поехало... Его Жена до пенсии обладала фигуркой мальчика – собственно, даже не мальчика, а лосенка или там какого другого копытного детеныша... Волосы темные носила пышной гривкой, до острых ключиц... А вот насчет сексуальности... Хм... Гостья, конечно, в этом смысле другое дело: тут опытность сквозит во всех жестах, о которых она сама и не подозревает, что это уверенные жесты сексуально востребованной женщины, которая еще не остановила своего окончательного выбора на определенном самце и охотно, не торопясь, перебирает их, пробуя на зуб... Хотя странно, вроде муж у нее там какой-то, дети... А чего странного – брак, наверное, неудачный, живут только из-за детей, а на стороне оба простодушно погуливают: обычное дело – так что, может, и не против она была бы... Но эта треклятая разница, о которой в последние годы все чаще приходится вспоминать при знакомствах... Сколько ей? За сорок? Черт, вот это плохо – в дочери годится... Хотя, может, ей

и зрелые мужики нравятся... Старый конь, как говорится, борозды не испортит: поговорка-то была придумана про это про самое... Скульптор бросил на Гостью быстрый пронзительный взгляд, исполненный уже настоящего мужского интереса.

– А вы с детства кошек любите? – вдруг спросила она, аккуратно отпихивая на коленях кота влево и берясь правой рукой за ложку, чтобы есть суп, не прогоняя влюбленное животное.

С детства...

На Крестовском острове вдоль Морского проспекта до самого начала двадцать первого века стояли блочные с деревянными внутренностями бараки, куда после Победы тесно селили вернувшихся из эвакуации ленинградцев, не нашедших на прежнем месте своих проглоченных войной домов. Вместе с ними Бог весть откуда возвращались в город и обаятельные кошки, чьи родственники были в блокаду подчистую съедены, напоминая по вкусу диетическую курятину. В бараках на Морском они сразу стали полноправными обитателями, исправно неся извечную службу по ловитве еще раньше вернувшихся серых грызунов и воспитанию быстро народившегося в сорок пятом человеческого молодняка. «Дитя Победы» назывался каждый зачатый в сорок четвертом ребенок. В сорок пятом родившись, мягких игрушек не видел он даже во сне и не подозревал об их существовании, зато представление обо всем шелковистом, теплом и ласковом выражалось для него в нежном слове «киса». Дети и коты в длинных и черных, как тоннели, коридорах жили вперемешку – и будущий Скульптор тогда еще раз и навсегда принял их глубоко в сердце – хотя собственного питомца не имел до пятидесяти с лишним лет, до Червонца, то есть...

В бараке номер двадцать родила его мама, которая, не эвакуировавшись из города и чудом вырвавшись из объятий «великомученицы Дистрофеи», всю блокаду служила в частях МПВО, куда была мобилизована начиная с сорок первого и где известная аббревиатура, в строгом смысле означавшая «Местная Противовоздушная Оборона», расшифровывалась несколько иначе. «Мы Пока Воевать Обождем!» – радовалась в первые месяцы войны молодежь, не угодившая на фронт, а вместо этого обязанная нести поначалу не слишком обременительные и малоопасные по сравнению с фронтом дежурства. «Милый, Помогите Вырваться Отсюда!» – так стали расшифровывать уже с конца октября... Маме Тане никто не помог – милого у нее еще не было – и она честно оттрубила все девятьсот дней, кошек к декабрю научилась свежевать и кушать за милую душу – пока их еще можно было отловить в городе, конечно... Все, кто шевелился, а не только МПВОшники, стали большими спецами по тушению зажигательных бомб и даже ухитрились породить бесхитростный анекдотец: «Меняю одну фугасную бомбу на две зажигательные в разных кварталах». Не мудрено: фугаска-пятисотка превращала семиэтажный дом в кучу пыли и щебня за пару секунд, в то время как зажигательные виртуозно тушились бдительными дежурными – пока те могли двигаться, конечно. Потом уже не всегда тушились, и над морозным городом все чаще и чаще вставали тусклые, медленные оранжевые зарева... Другая шутка – «Выходя из квартиры, не забудьте потушить зажигательную бомбу» скоро утратила актуальность: без крайней нужды – то есть, за хлебом и водой – уже старались дома не покидать, игнорируя даже бомбоубежища, где как раз, прошив дом насквозь, часто и разрывались фугасные бомбы (вовремя не обмененные на зажигательные, конечно)... «Превратим каждую колыбель в бомбоубежище!» – кинул кто-то в массы еще один народный лозунг... И превратили, и выжили. В дом, где жила мама Таня – тогда едва перешагнувшая порог совершеннолетия девчушка – в феврале угодила не пятисотка, а тонная. Завал никто даже не пытался разбирать – поэтому тел своих больных родителей она так никогда и не увидела, а в сорок четвертом, выйдя замуж за демобилизованного бойца и оказавшись с ним в комфортабельном по тем дням бараке, от вернувшейся из Свердловска бойкой плотно сбитой девушки-хохотушки услышала: «Блокадница, говоришь? Ой, не надо ля-ля! Все блокадники на Пискаревском кладбище лежат!». И не нашлась, что ответить. Танечка почувствовала себя виноватой в том, что выжила...

И в том, что муж у нее – инвалид войны, от которого осколок словно отгрыз сверху кусок наискось вместе с плечом и рукой – отгрыз и выплюнул остаток по причине крайней худосочности. Иначе, как «Огрызок», отца Скульптора в бараке и не звали – впрочем, недолго: только и хватило мужика, чтобы наскоро, без чистовой отделки, слепить молодой жене ребеночка. Воевал он на Ленинградском фронте, внутри кольца, потому так до госпиталя и не узнал, что ППЖ – это, вообще-то, Походно-Полевая Жена – там, за кольцом, на фронтах, где ели. А у них, где котелок «балтийской баланды», сваренной из четырех банок шрот – со шпротами не путать! – и горстки ржаной муки, делился на двадцать рядовых и сержантов, считали ребята вполне искренне: Прощай Половая Жизнь – вот как это переводится... Потому, кое-как зала-танный, только сына сделал – сторяча, не иначе, даже глянуть не дождался – и отошел. Туда, где и туловища у всех в целости, и конечностей полный комплект – и, говорят еще, плоды на деревьях растут очень вкусные. Питательные, главное, исключительно... Не какое-нибудь УДП – Усиленное Дополнительное Питание, а если точнее, то – Умрем Днем Позже...

Но некоторые не умирали вовсе – например, мамина школьная подружка Лариска. Уже в апреле сорок второго она с невинной гордостью рассказала Танечке, едва переступавшей по начавшему оттаивать Невскому своими жидкими ногами-тумбами, что в самом начале января ей удалось почти что на законном основании (первая доковыляла) ободрать безголовый труп молодой женщины: голову той срезало снарядом вчистую, причем так аккуратно, что алую кровь толчком выбросило куда-то в сторону, и она вовсе не попала на вытертую беличью шубку, под которой на груди было спрятано главное достояние каждого ленинградца: карточки – две взрослые и две детские, с печеньем... «Умирать-то умирай – только карточки отдай!» – говорилось тогда уже безо всякого стеснения, и обыскивали не только достоверно мертвых – это делали всегда, ничуть не изводя себя никакими нравственными терзаниями, но и, случалось, просто ослабевших и еще, может, сколько-то и протянувших бы на своем недоеденном «попкэ»... Умная Лариса нашла в себе нечеловеческие силы полученные по чужим карточкам продукты не съедать тут же в голодной бессознательности – а экономить две трети, лишь под-держивая шаткие силы – и так обеспечить себе серьезный двойной паек почти до конца обмо-рочного марта, когда нормы выдачи по собственным карточкам ощутимо поднялись – и можно было исподволь начать на что-то надеяться... До самого января сорок четвертого Татьяна рас-тила в себе уверенность, что Ларискин страшный поступок обязательно будет свыше наказан: то ли подруга «угодит в траншею», попав под неожиданный артобстрел среди ясного июнь-ского дня, то ли саму ее жестоко ограбят в начале месяца, и узнает она на собственной линия-лой шкуре, каково это – без карточек вовсе, то ли просто съест ее изнутри неизвестный, но безжалостный зверь по имени Совесть... Но ничего похожего! Принцип неотвратимости нака-зания не сработал: наоборот, устроившись летом санитаркой в госпиталь, подруга подкорми-лась там еще основательней, так что стала и в прямом, и в переносном смысле аппетитнень-кой девахой, да и суженого себе прямо на рабочем месте отыскала, расписавшись с бравым чубатым краснофлотцем, обратно на фронт после выздоровления не отправленным; до конца войны она ходила счастливая и румяная, а после Победы родила одного за другим двух здо-ровеньких бутузов. Те двое неизвестных детей, что в стремительно отдалявшемся во времени январе лишились с ее прямой помощью карточек, из своего Рая им тоже не отомстили: маль-чишки Ларискины выросли без больших приключений и в свой срок тоже превратились в бра-вых чубатых краснофлотцев...

А еще рассказывала сыну мама Таня, двумя с войны еще желтыми пальцами удерживая беломорину, докуренную уже почти под корень, что табачок в городе был второй драгоценно-стью после хлеба, и что курить научались рано или поздно все – и взрослые, и дети. Иначе с ума сойдешь; а покуришь – вроде и мозги на место становятся; на время, конечно – а потом нужна следующая самокрутка... Самый лучший табачок, вспоминала она, двадцати семи лет отроду вовсе без зубов и почти без волос, был в папиросах, называемых любителями «Золо-

тая осень», потому как делался он из сушеных листьев и тряпок – и ничего, курили за милую душу, а мерли – так не от этого... «Золотую осень» еще достать надо было ухитриться, вернее, шли на черном рынке несколько штук за полновесный дневной паёк, выродившийся в «попóк» в честь предгорисполкома Попкова, отнюдь не голодавшего...

«Но куда уж мне было папирасы курить – даже и «Осень» ту распроклятую... В МПВО мы только махорку и видели... Из чего ее делали – об этом, наверное, и знать не надо. Одна особенно хороша была: «Стенолаз» называлась. Но та для мужиков больше. Ну, а мы свою звали «Матрас моей бабушки» – и точно, сразу на ум приходил... Только бабушек уже ни у кого не сохранилось. Или вот еще: «Сено, пропущенное через лошадь»... Как лошадь выглядит – уже едва и помнили...» – блокада въелась в маму Таню намертво, по ней она теперь навечно мерила все ценности – и пищевые, и моральные. Настолько крепко это в ней сидело, что неожиданного благополучия она парадоксальным образом боялась. Уже младшим школьником, перед самой смертью Сталина, Скульптор услышал от матери в знаменитом на весь Крестовский «Круглом» магазине, где с потолка свисали пахучие копченые свиные окорока и разноцветные балыки, а на прилавке небрежно были поставлены рядом округлые латки с черной и красной икрой, не то ироничное, не то скорбное высказывание: «Ничего, ничего... Блокаду пережили – изобилие переживем...». После войны став учительницей английского языка и потом очень быстро – директором образцовой школы, она зарабатывала достаточно, чтобы не нуждаться ни в чем, но до конца дней своих в смысле питания придерживалась строгого аскетизма – из сложного чувства стыда и вины перед теми, кто не выжил. Те умерли с мечтой о ста граммах – не «фронтовых» водочных, а ленинградских опилково-хлебных, и потому до смерти почти невозможно было для мамы Тани положить банальный кусок «Докторской» на полновесный ломоть ничем не испорченного ржаного хлеба – все вспоминалась ей каша-«повáлиха» или знаменитый «Бадаевский продукт», то есть земля, пропитанная расплавленным сахаром, с которой только и нравственно, и правильно когда-то было для нее пить простой кипяток... Белый колотый рафинад пятидесятых-семидесятых считала мать неприемлемым развратом и в доме не держала, привив и сыну то же понятие о необходимости строгого бытия и ограничений почти что жестоких. «Нет ли корочки на полочке – не с чем соль доест?» – часто шутила она в шестидесятом по утрам на кухне их уже новой квартиры-крошки в Дачном, и в результате на завтрак ели пшеничную кашу с черным хлебом, запивая чаем из ароматных трав, что было полезно и здорово, но скучно и уже совсем не современно...

Блокада так никогда и не отпустила его мать: уже пятидесятилетней дамой со вставными блестящими зубами и в седом парике она шла по улице, инстинктивно озираясь и прислушиваясь: то ли ожидала сигнала воздушной тревоги, то ли боялась ненароком споткнуться о «пеленашку» – вынесенный на улицу завернутый труп. Увидев детей, беспечно играющих в «Море волнуется раз...», неизменно сообщала сыну, что вот так же в блокаду на улице между артобстрелами ребята играли «В дистрофию» – те из них, которые еще до нее не доигрались. Грудные дети в колясках заставляли ее вспомнить о других – блокадных «крючках», скорченных все той же неизлечимой уродливой болезнью... Она никогда не выходила из метро на станции «Гостиный двор», потому что именно там, на углу Садовой и Невского, находился тот самый «Кровавый перекресток», где в начале августа сорок третьего года, преодолевшие две блокадные зимы, победившие голод и уже неподвластные ему, видевшие то, после чего страх уходит навсегда, одномоментно были убиты снарядом сорок три успевших поверить в жизнь ленинградца. В невинной Кунсткамере мать обязательно замирала перед фигурой грозного папуаса с натянутым луком в коричневых руках и стрелой, предусмотрительно направленной в деревянную раму витрины: ведь именно эта стрела во время разрыва снаряда сорвалась с тетивы, улетела в сторону немцев – и весь Ленинград шутил: «Ну, теперь победа не за горами, раз уж и папуасы вступили в войну!». «Джоконда» для мамы Тани существовала только одна – блокадная, а именно – фотопортрет девочки-подростка с вымороченной полуулыбкой точь-в-точь,

как на леонардовском полотне в Лувре, собравший в те дни перед собой толпу дистрофиков на художественной выставке... «Мона Лиза? – простодушно восклицала при случае мама Таня. – Ну как же, знаю, это Вера Тихова...».

На самом деле мама Таня не пережила блокаду, а умерла в ней – только душа ее лежала где-то на Пискаревском или, может, просто под ногами гуляющих в Московском парке Победы, а тело по странному недоразумению осталось мыкаться по ленинградской земле – понял однажды ее сын, когда уже стал Скульптором и делал дипломную работу в Академии Художеств – работу, которую назвал «Блокадная Мать», а лепил со своей собственной. Скульптором стать он решил еще в детстве на Крестовском, когда вдруг услышал от нее же легенду о неизвестном художнике: будто бы нашли в пустой квартире восковую медаль с текстом: «Жил в блокадном Ленинграде в 1941 – 1942 годах»... «А откуда видно, что это – мать? – прицепилась дипломная комиссия. – Если мать – то при ней должен быть и ребенок, а у вас? У вас – просто мужественная изможденная блокадница, а мать там она или не мать – этого по работе не видно... – Это моя мать, – тихо ответил молодой человек. – Только меня в блокаду у нее еще не было...». И получил за диплом четверку. Еще счастьем показалось, ведь поначалу собирались поставить «три»...

Война и Скульптора зацепила за душу всерьез, поэтому первые десятилетия после Академии все лепил и лепил он из податливой терракоты то маленького трубача в последнем бою, то блокадную девочку с лошадиными коленками, то почтальоншу в беретике и с похоронкой в руках... Что с похоронкой, например, это зритель должен был сам догадаться, и что бой именно последний – тоже, и что девочка – не калека, а просто два года проголодала... А зрителем оказывался, прежде всего, советский худсовет. И из трубача норовил сделать пионера-горниста, из почтальонши – студентку, читающую жизнерадостные стихи, а у маленькой блокадницы требовал обтесать коленки... Ни на то, ни на другое, ни на третье Скульптор не шел по той же причине, по какой его мама не ела сахара, и в результате зарабатывал живые деньги только тошнотворной халтурой в пионерлагерях и детских санаториях, где приноровился по одним и тем же формам отливать беспроектных белых мальчиков в шортах и пилотках и редких девочек в теннисных платьях... Издалека да среди зелени смотрелись такие веселые композиции прямо Летним садом – зато жить потом можно было полгода без напряжения... Скульптор ненавидел себя за это – если только не миф, что человек может действительно ненавидеть сам себя – до самой середины девяностых, когда оказалось вдруг, что можно получить богатый заказ, например, на величавую бронзовую Дашкову в корсете и с прической – и будет она стоять, радуя людей и собственного создателя, на гранитном постаменте прямо перед зданием местной администрации никому неизвестного тылового городка, где главой всем на счастье оказалась деловая красивая женщина, с детства выбравшая себе княгиню примером для вечного подражания... Так, кроме Дашковой, встали в торжественные позы или расселись по строгим креслам на малых площадках и в чахлах сквериках не самые спорные государи, особо на рожон не лезшие общественные деятели и один скромный композитор...

– Вам не скучно?! – спохватился вдруг Скульптор, вынырнув из глубокой зеленой воды воспоминаний и заметив, что Гостья с Червонцем в обнимку, давно уже тихо доевшая и суп, и котлету, сидит напротив него и смотрит ему в лицо насмешливо-ласковыми своими глазами. – Что же вы меня не остановили? Я тут, старый болван, рассентиментальничался...

Скульптор непредсказуемо смутился: чего это он перед ней, а? И про маму, и про войну... Ей-то какое до всего этого дело? Молодая ведь еще, да вдобавок, из этого, как его... потерян-ного поколения. Небось, сидит и думает: «Вот прорвало старпёра на мою голову!». Он рассердился на себя, а сурово глянул на нее и буркнул:

– Вам, может, еще кофе? – и на ее качание головой – строже: – Тогда уже давайте берите ваше интервью, а то и так Бог весть сколько времени у меня отняли.

Гостья едва заметно усмехнулась.

«Ну, конечно, – мысленно рассвирепел Скульптор. – Вот сейчас точно думает: интересно, кто у кого отнял? Но если вслух скажет – возьму за шкварник и, блин, за дверь выброшу... Подумаешь, цаца!».

Но она вдруг отозвалась по-прежнему ласково:

– Какое интервью, помилуйте! Лучше того, что вы мне только что дали, и быть не может... Я из этого такую статью... – и она, поднимаясь, забрала и спрятала в сумку плоскую серебристую коробочку, весь обед промерцавшую на столе и определенную Скульптором как какой-нибудь крутой современный мобильник, оказавшийся, выходит, диктофоном!

Он даже осип, смешавшись от возмущения и ужаса:

– Нет, только не это... Это ведь совсем не то, что я... Подождите, я вам сейчас... Или нет, вот что: давайте просто бросим все это дело, а? У вас от других желающих отбоя не будет, а мне-то на что, строго говоря...

Гостья подняла на него именно тот женский взгляд, перед которым Скульптор всегда был беззащитен, как новорожденный котенок перед голодной вороной: это взгляд – покорный, чуть ли не отдающийся, и в то же время ненавязчиво торжествующий, нежно-победительный... Ее сливочного цвета рука с единственным крупным аметистовым перстнем и жемчужными ноготками робко легла ему на рукав:

– Ну, пожалуйста... Я ведь без вашего разрешения все равно ничего не напечатаю. Я вам принесу показать, когда будет готово; все обсудим, исправим, если надо... Не будьте... таким. Не обламывайте меня... – лукаво: – Я ведь уже загорелась вами, а вы...

Скульптор посмотрел на нее, стоявшую опасно близко, и понял, что на все согласен: эта ярко-синяя атласная блузка с мягкими рюшами вокруг довольно глубокого выреза теперь бросала холодный звездный отсвет на дымчато-серый раек ее глубоких и умных глаз, и он поймал себя на отчетливом желании вот прямо сейчас прикоснуться к ним губами... Он резко отстранился: только влюбиться ему сейчас и не хватало... А что... Запросто... Ему до семидесяти еще жить и жить – да и после... Нет уж, дудки, только не с этой. Сам ведь сразу понял: львица. А значит, искогтит всю душу, на лоскутки пустит, а потом и не оглянется. В таких случаях главное сразу – назначить непреодолимую дистанцию. Статью? Пожалуйста, мадам. Он не трус и не рохля, ваши нехитрые чары ему нипочем. Намеренно холодно бросил ей:

– Ну что ж, напишете – скиньте мне на ящик, я гляну в свободную минутку. А теперь извините, я человек занятой... Дорогу до метро найдете? Надо дворами выйти на Среднеохтинский...

– Спасибо, я за рулем, – улыбнулась Гостья. – В Петербурге родилась и выросла, так что уж не заблужусь...

– В Ленинграде: мы с вами не немцы, – жестко поправил Скульптор, не только немецким названием в ее устах уязвленный, но и ее еще раз доказанным феминизмом: машину водить – не женское дело, это и в двадцать первом веке любой нормальный мужик скажет.

– Но и не ленинцы, к счастью, – мягко огрызнулась она. – Так до встречи.

– Всего хорошего, – намеренно не сказал «До свидания», а про себя еще и добавил: «Нет уж, милочка, встречи с тобой мне больше не предстоит»...

Но к окну все-таки подошел – глянуть, за каким таким рулем она гордо обретается – и увидел, как журналистка выскочила из подъезда в тонкой отороченной светлым мехом курточке, да в машину – нырк! Что за шикарное авто – в льдистых февральских сумерках да с девятого этажа особо не разобрался: вроде, недорогая темненькая иномарка, «фольксваген» какой-нибудь, или престарелый «фордишка»... Прогревалась Гостья минут десять с выключенными фарами – и знай порулила себе в сторону набережной... Вдохнул Скульптор: скатертью дорожка...

Дом, в котором он вот уже тридцать лет обитал – сначала с семьей, а теперь один – давно известен был всему городу: именно сюда со всех его концов сосредоточенно стекались, как в

паломничество, озабоченные невесты в отчаянных поисках свадебных нарядов, потому что в первом этаже располагался знаменитый магазин для новобрачных «Юбилейный», куда пускали только особых счастливиц по талонам, выдаваемым в советских подозрительных Загсах... Окна квартиры-мастерской, доставшейся Скульптору после долгой и дорогой череды обменов, обманов и взяток, откуда в свое время его Жена традиционно ушла «к маме», из принципа не отсудив ни метра и забрав лишь свои носильные вещи, – эти окна выходили большей частью в серый и пыльный охтинский двор, и лишь одно, кухонное, – глядело на мир из узкого торца дома, позволяя видеть справа далеко внизу тускло-серебряный днем и чернильный ночью кусок несговорчивой Невы.

Скульптор еще раз взгляделся в сумерки – и вздрогнул: недалеко от его машины снова появилась та самая светлая «Самара». Если б он ее только по своему двору знал – то и глазом бы не моргнул: понятно, что соседская... Но тут... Он помотал головой: бред, кому он нужен, полунисий старик, живущий можно сказать, на пенсию... Ну, не совсем, конечно, а все же не столько приносят его редкие заказы, чтобы кто-то следил за ним с целью ограбления... Ведь бьется он над податливой глиной не так ради денег, как ради того, чтоб не лишиться последнего самоуважения... Чушь это все... Не эта «Самара» стояла у «его» магазинчика, когда брал любимую «Краковскую» и пару пива, не она ждала – и умчалась, когда от заказчика расстроенный вышел... А все же, если еще покажется – надо номер запомнить, мало ли психов... и мало ли «Самар»... Махнул рукой: глупости, не хватало еще начать об этом всерьез думать! Но и не о Гостье же...

Выйдя из кухни, задержался в прихожей у помутневшего от времени зеркала и даже фыркнул: герой-любовник, надо же! Оттуда сонно пялился потасканный яйцеголовый тип с розоватыми от недосыпания буркалами, гладко пробритыми бульдожьими брылами и клочковатыми бровями, одутловато-бледный и вообще отвратительный на вид... Скульптор с болью отвернулся, снова мысленно ругнув себя за давешние эксцентричные мысли о Гостье. Вот бы хохотала она, если б вдруг подглядела то мгновенное движение его души, когда ему на миг захотелось поцеловать ее! Идиот. Это ведь другое поколение – просто другое поколение, ничего больше. Его поздняя дочь ненамного моложе Гостьи – и где она теперь? Правильно, вышла за еврея и уехала с ним в Америку, где и живет себе припеваючи... Его принципиальным ровесницам такое даже в кошмарных снах не снилось. А для дочери и для журналистки этой – ничего особенного... Впрочем, ведь мама Таня когда еще говорила: «Каждому поколению – своя блокада...».

Глава вторая

Бетховен пришел к Нельсону

рано утром, хотя с давних пор знал (и неизменно удивлялся), что тот раньше полудня не встает. Хотя, строго говоря, зачем ему... Сам Бетховен с детства числил себя в «жаворонках», и это, как он тогда же и понял, обеспечивало ему немалые преимущества перед большинством населения, неспособным, выбравшись из постели по будильнику, ни запустить с места в карьер мыслительный процесс, ни совершать сколько-нибудь полезные действия – кроме необходимых физиологических... Было время – и он, лишь откинув одеяло, способен был сразу подскочить к инструменту – и пальцы сами летели, по клавишам, как бы выполняя радостный утренний ритуал приветствия... Давно и навсегда миновало то незабываемое время – уж двадцать четыре года, как он слышал последнюю музыкальную фразу – а именно, первое утреннее завывание муэдзина. Оно донеслось откуда-то снизу, из несказанно далекого, неведомого кишлака, и таким казалось надрывно-отвратительным, так душу скребло, как ржавый гвоздь... Чего только ни отдал бы теперь, чтобы услышать опять. Что-нибудь услышать. Кроме того, что доносилось через чуткую пуговицу продвинутого слухового аппарата, способного превратить

для него чужой натужный крик только в едва слышный шепот – и на том спасибо ему, драгоценному... Правда, еще задолго до того, как престарелые родители, каждый забрав вперед по две пенсии и одолжив денег у всех, кто готов был не особенно надеяться на скорое возвращение долга, торжественно преподнесли ему на День рождения это чудо корейской техники, предназначенное для тех, кто уж и вовсе всем «Пням-Пень», Бетховен сумел научиться читать по губам и говорить, не слыша собственного голоса, не хуже любого глухого с рождения... Господи, лучше бы он таким родился! И не прожил бы на свете двадцать лет, наделенный слухом – цветным и объемным, стереоскопическим, как зрение иных странных животных... Он слышал так тонко и мучительно-счастливо, что, казалось, мог бы, если б захотел, и соловьиный концерт на десятки голосов записать нотами, и шелест ветра в ветвях рябины-ровесницы под окном, на общественном газоне – ровесницы потому, что отец взял – и самовольно посадил ее в день рождения сына...

Бетховена произвели на свет самые простые люди: папа его всю жизнь водил неуклюжий троллейбус двадцать четвертого маршрута, что шел от Московского Парка Победы до Троицкого собора, а мама трудилась рядовым бухгалтером в том же троллейбусном парке и имела три платья: два – коричневое с воротничком и синее на мысик – для работы, а третье – бордовое бархатное – для театра и гостей. Не от бедности – денег в семье хватало: отец получал неплохо, никогда не пил больше двух рюмок в праздник и других излишеств себе не позволял – но только мама не понимала искренне: а зачем еще другие платья-то? Ведь больше одного за раз на себя не наденешь! А менять их... только хлопоты одни... Необычайные музыкальные способности любимого сынка она заметила первая – услышав, как точно попадает он в мотив старинной песни, когда в Новый Год, выпив и закусив, как положено, затянули они за столом с подругой любимую: «Окрасился месяц багрянцем...» – а мальчишечка-то вдруг давай подпевать – да чисто так! Голосишко слабенький, писклявый еще, как и подобает тощему четырехлетке, а мелодия – ну ты подумай! «Ты, Любка, это... Учителю музыкальному, какому ни есть, нашего пацана покажи... Может, он у нас будет этот, как его... Фамилия еще немецкая, а может, из евреев... Рихтер!» – решил тогда же призванный в качестве третьей стороны отец.

«Да какой там Рихтер! Если дело так и дальше пойдет, то Рихтера этого ваш мальчик скоро мелко видеть будет!» – постановила спустя две недели Елена Ивановна, учитель музыки в купчинской типовой школе, прослушав по просьбе знакомых стеснительного мальчонку с каштановой челкой и серьезными карими глазами. Она позволила ему позабавиться с выдавшим виды школьным фортепьяно, потеревить кремового цвета клавиши с мелкими трещинками, и, внимательно прислушавшись к извлеченным из черного облезлого брюха школьного «инструмента» звукам, предложила заниматься частным образом у нее дома, плату запросив неожиданно умеренную. Елена Ивановна оказалась честным человеком: на мамино удивление смехотворностью запрошенной суммы, ответила, не дрогнув: «Это для того, чтобы стоимость уроков не стала для вас решающим фактором. Музыкальных дебилов, чьи родители надеются сделать из них выдающихся исполнителей и платят по полной за мои ежедневные муки с их чадами, у меня достаточно. А ваш ребенок должен заниматься в любом случае – неважно, есть у вас деньги или нет. Закопать такой талант вы не имеете права – ни по какой причине. А раз случай или – называйте, как хотите – привел вас ко мне, то и я не могу отказываться. Не все за деньги в этом мире делается...».

Елена Ивановна не только поставила Бетховену руку, внедрила в его восприимчивую голову твердые теоретические знания, заложила основы будущей технической виртуозности, подготовила к поступлению в музыкальную школу при Консерватории. Она сумела заставить его самого словно прорасти в мир звуков – или, может быть, прорастить все самые прекрасные звуки мира в себе – а не просто научиться красиво извлекать их из коллекционного рояля от «Теодора Беттинга», унаследованного ею от чудом сохранивших его в революцию предков и любовно отреставрированного в новое время одним из штатных настройщиков Мариинки...

«Мой рояль среди других роялей, – шутила она, – как скрипка Страдивари среди всех прочих...». Это еще не все – у нее, не имеющей даже традиционной кошки толстой и потной старой девы в роговых очках и с тощим кукишем на затылке, любимый инструмент был вместо родного существа, нуждающегося в ласке и заботе и страдающего в ее отсутствие... Может, действительно дело было в волшебном рояле – кто знает! И правда, вполне достойный «Красный Октябрь» из комиссионки, на который, просоветовавшись на кухне всю ночь и к утру приняв жизненно важное решение, однажды разорились родители, не зачаровывал так своими звуками, не гудел так таинственно и нежно сумрачным духовитым нутром, не вызывал порой в сердце таких неодолимо подступающих рыданий... Музыка стала для Бетховена праздником и счастьем – а не предначертанной карьерой неизменного победителя скучных музыкальных конкурсов и юношеских никчемных олимпиад... Он бы, если б не довела предначертанность, может, даже и не сделал бы музыку своей профессией, смутно чувствуя, что получать деньги за то чувство гармонии и восторга, которое она ему давала – все равно что брать плату за близость с любимой женщиной или за долгую глубокую беседу с истинным другом... Но других путей, как будто и не виделось: иные области человеческих занятий, особенно те, что зиждились на точных науках или технике, вызывали у него явное и тошнотворное неприятие, доходя даже до проявлений его самого пугавшего идиотизма. Например, упражнения по алгебре и геометрии в школе, что в простоте своей были подвластны даже тем, кто давно и безнадежно болтался между двойкой и тройкой, никогда не поддавались Бетховену – с каким бы отчаяньем обреченного он ни кидался на штурм... Да и родителей так подкосить было невозможно: причины им ни при какой погоде не объяснишь – а ведь высшей гордостью и счастьем стал для них, простых трудовых людей, нежданно, будто с неба упавший к ним талантливый сын-музыкант, после школы сразу принятый в недоступную, как далекая зеленая звезда, Консерваторию по классу фортепьяно, сын, которому предстояло еще и еще раз подтвердить для всего мира ту загадочную истину, что – вот может же быть, ядрена вошь!

В самом начале второго курса его совершеннолетие скромно отпраздновали дома с сияющими родителями, новым другом-валторнистом и стеснительной, впервые приведенной в дом одноклассницей Наденькой, с которой Бетховен только утром первый раз поцеловался в своем подъезде и оттого был совершенно неприлично (все время приходилось украдкой поглядывать на ширинку) счастлив. А через неделю пришла повестка в парадоксально всеми позабытый и по той причине раньше в расчет не принятый военкомат. Мама сама ходила к декану – и получила полную и закономерную его поддержку: такого талантливого студента можно считать частью золотого фонда страны, и уж конечно отсрочку ему сейчас выхлопочут, а там... «Не надо, – неожиданно уперся несуществующим рогом безусый юноша. – Отслужу, как все. Не сахарный. Я комсомолец. Мой талант теперь никуда не денется. Но благодаря государству он развивался. Это оно меня бесплатно учило и воспитывало. Я ему обязан. И точка на том». Терпеть не мог, всеми силами души презирал Бетховен здоровых парней «кровь с молоком», объявляющих себя чуть ли не инвалидами, охотно записывающихся в сумасшедшие – и все для того, чтобы не послужить Отечеству, как всякий нормальный мужчина от века обязан. С души воротило, когда слышал их сучье скуление: «Не всем же по окопам с автоматом бегать... Я, например, Родине послужу своим талантом...». Ага, Родине, как же... Себе ты послужишь, а не Родине. А служить – это значит, не как сам хочешь, а как долг требует. Тьфу, ур-роды...

А может, Бетховен и кривил душой: просто передышки малой захотелось: словно отступить от музыки на шаг – и подумать... И понять, что только она одна в жизни нужна. И еще, может, Наденька, если согласится, конечно. Когда он объявил ей о своем решении, Надя плакала безутешно, но, видя непреклонность, смирилась, а в вечер прощания затряслась у него на груди: «Я буду ждать, буду... Ты верь в меня, милый, милый...». Они стояли, обнявшись, у окна в ее пустой квартире в потоке последнего питерского солнца, и Надя, не поднимая лица и обливаясь слезами, быстро-быстро зашептала ему в шею: «Хочу, чтоб ты стал у меня первым...

И единственным... Сейчас... Прямо сейчас...» – но он заставил себя отстраниться, почти силой выдравшись из ее цепких мокрых объятий: «Вернусь – и стану, – а про себя добавил: – По крайней мере, тогда будет ясно, насколько преданно ты меня ждала...» – а выйдя, замер вдруг на месте, вспомнив о своей мимоходной мыслёнке: ведь о любимых так не думают, наверное... И действительно, с Надей он больше так никогда и не увиделся. Без всяких угрызений совести тою же ночью в очередь с валторнистом в общаге оттрахал по самое не хочу сговорчивую разбитную брюнетку Евгению с музыковедческого, а поутру, провожаемый враз постаревшими и неожиданно маленькими родителями, трогательно жавшимися друг к другу на остром ветру, уже стоял среди других разномастных призывников во дворе районного военкомата. От паркетной службы в музыкальной роте Бетховен с возмущением отказался еще раньше, поэтому будущее его в те минуты было покрыто такою же тьмой, как у остальных испуганных парнишек как, собственно, это бывает всегда и у всех, и как должно быть по своей сути...

Несомненной казалась только музыка.

Тьма рассеялась окончательно спустя почти два года, когда он пришел в себя и не сразу смог открыть глаза: невероятная, ярко-красная боль рвала его голову словно хищным клювом, горизонтально распластанное тело терзала мучительная железная вибрация – но оттуда, из этой невыносимой красноты и тряски, не доносилось ни одного звука. Бетховен бесконечно долго открывал глаза, как Вий, боролся с каменными веками – пока, наконец, удалось приподнять их и удержать ненадолго... Тогда он понял, кто он сейчас: груз-триста в вонючей раскаленной вертушке, а рядом, безмолвный и неподвижный, лежит другой такой же «трехсотый». Мало того, за те несколько секунд, что смотрел в полумрак, Бетховен даже успел углядеть светлый, почти что белый чуб, единственный дембельский чуб такого цвета в их взводе, с которым сразу ассоциировались ультрамариново-синие на тонком смуглом лице бедовые глазищи... Теперь он торчал в своей странно нетронутой, как снег на вершине горы, первозданности над багровой, без единого белого островка, коркой присохшего бинта, сплошь покрывавшей лицо его земляка-питерца, взятого в армию тоже со второго курса – но только из Академии Художеств. С ним Бетховену во взводе скорешиться не пришлось – даром, что зёмы, да как-то не приглянулись друг другу с самого начала – но и до неприязни не дошло: с симпатией вспомнилось вдруг, даже сквозь боль, как лихо, едва ли не одним замысловато-изгибистым движением, тот вдруг стряхивал с карандаша на листок чей-то точный и законченный образ в нескольких линиях... Особо запомнились добрый губастый урюк Узукбай, и норовистый горбоносый джигит Аслан, и пучеглазый мясистый бульбаш по прозвищу Картошка... И в духаны, когда выпадало, парень этот носился не за ходовыми видеокассетами с порнухой или блестящими тенями для капризной бабы из медсанчасти, а все норовил выпросить у духанщика особенные какие-то авторучки, рисовавшие, будто тушью, цветной и черной, да пачку бумаги, вроде альбомной... Тогда, в вертушке, художник не стонал и не двигался: то ли в глубокой отключке лежал, то ли смилосердствовался санинструктор, вкатил промедолу...

Теперь, двадцать четыре года спустя, обладатель все такого же светлого чуба, в котором, правда, может, и седины уж было больше, чем природного льняного цвета, вставал поздно, но Бетховену всегда бывал рад – даже спозаранку. Улыбнулся, открыв дверь – хотя улыбка его теперешний лик украсить, конечно, не могла. Бетховен думал как-то подготовить парня сначала – все ж не каждый день приходилось им вспоминать о том существе из давнего прошлого, которого звали они не иначе, как Мразем – вот именно так: в женском роде, но с мужским склонением. Но понял, что подготовить не получится: удивительная весть сама так и рвется наружу, да и кореш его, небось, не красная девка – в обморок не свалится. И, хотя, как и сам Бетховен, на весть эту он тоже никогда особо не надеялся, но все равно ревниво ждал ее втайне. Ждал с того самого дня.

– Он здесь, – сказал Бетховен. – Я нашел его, Нельсон.

«Тот самый день» для Нельсона был во времени не совсем тот, что у Бетховена, потому что в трясушей «вертушке» он так в себя и не пришел – это произошло на целую неделю позже, в ташкентском госпитале. Но суть от этого не менялась: в тех смутных нездешних областях, где обитают страховидные химеры очищенной ненависти и златоликые, но не менее опасные привидения вечной любви, времени, как известно, не существует. Тишина, внезапно навалившаяся на него еще там, под отвесной зеркальной скалой, неумолимо отразившей весь замедленный, как в кошмаре, полет короткого огненного змея, неспешно плывшего ему прямо в голову – от которого, тем не менее, совершенно невозможным оказалось вернуться, – та тишина ожила сначала голосом его жены Верочки. «Все хорошо... Все хорошо... Все хорошо...» – повторяла она с такой непререкаемой убедительностью, что Нельсон, поверивший сразу и безоговорочно, потом до самой середины нутра своего удивился – как это она ухитрилась, сидя у его койки и достоверно зная страшную истину во всей ее невероятности, врать так нежно и правдоподобно. Она, которая и в школе, не выучив урока, не могла ответить рассвирепевшей училке традиционно-обиженным: «Я учи-ила...». В таких случаях Вера просто начинала беззвучно плакать, опустив голову, но даже самая невинная ложь не шла у нее с языка, уверенно застревающая где-то на полпути. Их расписали сразу после выпускного вечера – двух влюбленных несовершеннолетних, за пять месяцев до этого неумело сделавших ребенка на узенькой кушетке в гостях у какой-то случайной подружки. Через неделю после свадьбы у молодой жены с не устоявшимися еще месячными и крайне субтильного телосложения приключился закономерный выкидыш – причем какая-то злорадная медицинская сволочь, без всякого наркоза вывернувшая наизнанку обливавшуюся густой коричневой кровью девчонку, не преминула сообщить ей прямо на столе пыток, что погибший плод был женского пола... В госпитале, куда она примчалась ночью прямо с самолета – бледная до зелени и с прыгающими губами – с ней тоже не церемонились, а без всяких околичностей сообщили, что ее двадцатилетнему мужу, студенту ленинградской Академии Художеств, а ныне рядовому СА, уже давно отпраздновавшему вместе с другими дембелями долгожданные «сто дней до приказа», слегка скользнула по верхней половине лица огнеметная струя, в результате чего упомянутой половины как таковой более не существует, как и правого глаза – целиком, а левого – на три четверти... Им обоим вместе – потому что в жизни с той минуты они больше не разлучались ни на день – предстояло вынести одиннадцать пластических операций на том, что когда-то было ее любимейшим лицом в мире, и семь – на остатке левого, раньше синего, как горное озеро, глаза, который лишь через четыре года начал различать свет и тень, еще через два – движущиеся силуэты, после этого совсем скоро расплывчатый мир немного окрасился – но на том улучшения закончились навсегда. Ни читать самостоятельно, ни рисовать ее лучшему в мире мужу больше никогда не пришлось...

Но в самый первый день Праздника Возвращения Звуков Верочка, припав к груди возлюбленного, только твердила, что счастлива тем, что он жив и они вместе, обещала, что огромную пухлую повязку скоро снимут навсегда («Ну, конечно, ожог придется немножко полечить, а может, даже и прооперировать – ну, да это пустяки...»); что с глазами тоже обойдется, ведь задело буквально только краешком («Ну, правый-то глазик похуже, зато доктор сказал, левый целенький, почти весь целенький...»); что они скоро поедут домой в Ленинград («И мама испечет «Наполеон-мокрый» – или, может, ты больше сухой хочешь, с таким белым-белым кремом?»).

Он почти успокоился и, сжимая ей тонкую кисть, спросил, благо хоть рот уцелел в неприкосновенности, о том, что сразу стало – главным: «Вер, не знаешь... Кроме меня... Еще кто-нибудь из взвода...» – и даже в непроницаемой темноте догадался, что она быстро-быстро закивала. Через час на его кровати сидел невидимый земляк-музыкант, хорошо запомнившийся по дням совместной тяжелой службы своей какой-то несвернутой, смугловатой мужественной красотой – и тем, как, оскалив голливудские зубы на черном от копоти лице, он вдруг схватился обеими руками за уши и стал сползать спиной по зеркальной скале, а между пальцев с обеих

сторон толчками выплескивались маленькие фонтанчики крови – и не удалось рвануться на помощь, потому что... Потому что больше ничего уже никогда не удалось... «Он не слышит... – шепотом, противоречащим смыслу слов, предупредила Вера. – Но по губам уже научился понимать немножечко... Если артикуляция четкая...». Так и скорешились глухой со слепым. Первый надсадно ревел, инстинктивно считая, что если удастся докричаться до себя самого, то и другие, верно, лучше услышат, а второй изо всех сил, до боли в губах, изображал, почти рисовал ими буквы и слоги: «Ну – ты – Бет – хо – вен!!!» – и слышал в ответ словно рев реактивного самолета, от которого звенела палатная лампочка: «От Нельсона слышу!!!!!».

Хорошо было тому, настоящему Нельсону: его единственный глаз видел Божий мир отчетливо, и он, если б захотел, мог бы рисовать...

А этот Нельсон способности к рисованию унаследовал от отца. Тот никогда ничему такому целенаправленно не учился, считая умение красиво изображать на бумаге интересные предметы и явления чем-то лишним, мешающим важным мужским делам и годящимся лишь в невинное хобби. Во всяком случае, не заслуживающим того, чтобы становиться профессией настоящему мужику, предназначенному для глобальных мыслей и великих свершений. Другое дело, превратившись в директора солидного питерского завода, то есть, продемонстрировав миру свою доказанную состоятельность, потешить иногда таких же солидных друзей, собравшихся на праздник у его очага, молниеносным наброском, изображающим то летящую к солнцу лошадь, то растерянный парусник среди бури, то молодую любовницу приятеля, ступавшую в присутствии презрительно настроенных толстых чужих жен... И, разумеется, сделать вид, что к тебе не относится одобрительный гул, вызванный пущенным по рукам листком: «Толян, да ты талант! Жаль, в землю закопал!»

У матери Нельсона в работе ради хлеба насущного не было нужды, причем, даже такое скучное и малоинтересное занятие, как ведение хозяйства, жену обеспеченного человека на двадцать лет старше ее, обошло: это безраздельно поручалось приходящей домработнице – а бывшей ученице Вагановского училища осталось, по идее, только заниматься единственным сыном, любимцем и баловнем. Но ничего подобного: материнский инстинкт был развит у нее настолько слабо, что она едва интересовалась его школьными успехами, не всегда безупречный дневник подписывала не глядя, а от сына откупалась нескончаемыми подарками и кондитерскими изысками. Мадам Марго было чем заняться в этой жизни. В отличие от своего непробиваемого мужа, она посвятила свое существование тому, чтобы разнообразные таланты, наоборот, не закапывать. Исключенная из Вагановки за крайнюю долговязость и отсутствие каких-либо дальнейших перспектив, она, тем не менее, завела в супружеской спальне балетный станок и по утрам делала бесконечные батманы, жестко считая вслух: «И-раз, и-два, и-три...» – и так до бесконечности. Решили в свое время ее интеллигентные родители, что коли уж из девочки не получилась великая балерина, то, может, музыка станет ее звездной судьбой. В результате, теперь в гостиной стоял огромный полированный рояль красного дерева, и мать бесконечно, до судорог в пальцах доводила до совершенства какой-нибудь упорно не поддающийся ее виртуозности прелюд – и, опять же, металлический ее голос долбил неизбежное: «И-раз... и-два...». Рядом с фортепьяно уверенно примостился дорогой импортный мольберт, на котором всегда торжественно присутствовал холст с незаконченной маминой фантазией маслом или пастелью: уроки живописи она брала уже сама, во вполне сознательном возрасте, дисциплинированно посещая какой-то левый хозрасчетный класс, где больше рассказывали о «течениях», чем пытались побудить учащихся хотя бы полуграмотно управляться с кистью. Но красивое свидетельство об окончании было честно выдано, что позволило Марго при каждом случае с полным правом вворачивать в разговор: «Вот мы, профессиональные художники...». Ее поставленными почти на серийное производство картинами, обрамленными в дорогие резные и золоченые рамы, было увешано все свободное пространство на стенах квартиры, исключая, пожалуй, только санузел, и многочисленные гости, бродившие в преддверье застолья с

икрой и шампанским по этой вечной экспозиции, сдержанно хвалили и хромоногую лошадь с длинным туловищем, и аляписто-фиолетовый закат над неузнаваемой Невой, и некую многоугольную фигуру с неожиданно безумными глазами наискосок, определенную автором как «Портрет мужа художницы»...

Муж ничего – терпел, потому что самым парадоксальным образом любил свою восторженную идиотку с голубиным взглядом, неспособную ни на какие глубокие чувства ни к чему живому и вечно находящуюся в странном экстатическом надрыве по поводу собственной исключительной неповторимости... С молчаливого согласия мужа жена заказывала себе у жадной портнихи самые невероятные наряды с турнюрами, корсетами и кринолинами, изводя невероятное количество шелка, бархата, кружев и перьев, имея гардероб на вкус любой эпохи – не хуже любого эстрадного – и целую коллекцию немыслимых шляп всех цветов и пород. Начисто лишённая способности различать время и место, потребное для каждого туалета, она могла явиться в греческой тунике и высоких сандалиях, расшитых искусственными жемчужинами, или, наоборот, в бархатном платье «а ля Мария Стюарт» – на выставку гобеленов в Союзе художников советского времени и там самой стать центральным экспонатом для почти открыто вертящих пальцем у виска посетителей – но при этом искренне считая себя аристократкой, не снисходящей до презренной толпы «гомо советикус»...

Отец Нельсона сам-то дураком не был, и, случалось, приняв на грудь немалую стопку после утомительного рабочего дня, доверительно говорил на кухне повзрослевшему сыну: «Мозгов-то у матушки твоей – меньше, чем у голубицы... Да чего там – и ни рожи, ни задницы, прости, Господи... А ведь поди ж ты – как припаяла меня к себе, сучка такая...» – наливал еще одну и, махнув рукой, опрокидывал. Сам Нельсон маму любил – но будто не как маму, а как Жар-птицу, волей судьбы поселившуюся в доме, или очень красивую драгоценную вещь, к которой нельзя прикасаться во избежание ущерба, а может, просто как Великую Загадку, не подлежащую разгадыванию никогда.

Когда он от нечего делать приглядывался к привычным картинам мамы, то иногда происходило удивительное: из глубины души поднималось чудесное, волнующее наитие – и через какой-то миг он точно знал, что именно жизненно необходимо привнести на конкретное полотно, чтобы оно превратилось из тусклого и пошлого пятна цветной грязи в одухотворенное произведение, радующее душу. Десяти лет отроду он однажды так и поступил: в одно из маминых многозначительных отсутствий, предназначенных доказать родным и подругам ее востребованность суровым внешним миром, Нельсон, встав на стул, снял со стены над буфетом убогую пастель, изображавшую мутную долину с неубедительными холмами на горизонте. За полчаса вдохновенного труда он насадил в долине поле алых маков, странные темные возвышенности превратил в благородные голубые горы, а на плоском бездушном небе прописал пару-тройку озаренных отсутствующим закатным солнцем облаков...

Отец вернулся раньше матери и застал отпрыска за работой. Нашкодивший отрок втянул голову в плечи, ожидая, что отцовская воспитующая длань вот-вот обрушится на его белобрысый стриженный затылок – но тот только сопел и хмыкал добрых пять минут и, наконец, никаких физических воздействий так и не применив, спросил озабоченно:

– Сам или срисовал откуда-нибудь?

– Сам, – обреченно уронил голову на грудь Нельсон.

– Так, – и отец вдруг грузным маятником прошелся по комнате; остановился и потребовал: – Еще есть что-нибудь? – и, в ответ на виноватый кивок: – Неси.

Сын принес папку и застыл перед отцом, глядя в пол и смертельно боясь, что папа сейчас взорвется своим знаменитым вулканическим гневом, обнаружив в наследнике – крепком спартанского воспитания парне – презренные девчоночьи склонности, и в несколько движений на ленточки пустит все рисунки из заветной папки, а потом как достанет из шкафа ремень... Отец рассматривал лист за листом, сохраняя на пухлом веснушчатом лице, которое никто, тем

не менее, не рискнул бы назвать добрым или простодушным, выражение полнейшего бесстрастия. Ущерба никакого не нанес, и, вложив в папку последний рисунок, закрыл ее и крепко погладил мощными ладонями.

– Так, – повторил он неумолимо. – Так. По математике больше тройки у тебя уже и сейчас не бывает. Дальше станет только хуже. Потом начнется физика – и вообще кранты. Думал репетитора тебе брать. Ничего подобного. С осени пойдешь в СХШ. Там твое место. Не мне решать, хоть я и коммунист. Господу Богу. А Он уже решил. Чего стоишь? Забирай эти бумажки и дуи к себе в комнату...

Вечером мама заламывала руки и с пылающими щеками прижимала к груди коллекционный кружевной платок: «Как ты посмел?! Нет, ты мне скажи, как ты посмел?! Неумелой детской рукой! Прикоснуться к работе профессионала! Изуродовать одно из лучших произведений! Нет в тебе совести! Совсем нет совести! И нет высокого страха перед творениями искусства! И это – сын художницы! Боже! Боже! За что Ты меня так сурово наказываешь?!». Пожилой отец с ласковой снисходительностью поглядывал из-за развернутой «Правды» на свою молодую высокую и костлявую жену, принимавшую замечательно красивые балетные позы, и нежно бубнил, кривя суровый рот в не идущей ему улыбке: «Не бери близко к сердцу, Риточка... Не перенапрягайся, девочка моя...».

Она умерла от аппендицита, когда Нельсону только что исполнилось шестнадцать, умерла, собственно, не от болезни, а все от той же непроходимой глупости: несколько дней испытывая мучительную боль в животе, она упорно отказывалась показаться любому врачу, трагически восклицая: «Советская медицина! Ха-ха! Она опасна для жизни! Если не пройдет, я поеду в поликлинику для творческих работников и добьюсь приема у профессора! За меня вся моя жизнь в искусстве! Я не позволю калечить себя какому-нибудь недоучившемуся ветеринару!». Когда аппендикс, наконец, разорвало и гной вылился в беззащитную брюшину, эти бездушные «ветеринары» целую неделю бились за ее никчемную, то потухавшую, то обнадеживающе загоравшуюся жизнь, организовали отдельный сестринский пост у ее постели и перешептывались между собой: «Известная художница... Надо же... Такая молодая...» – но повлиять на роковое решение злодейки-Судьбы уже не смогли.

Отгоревав положенный срок, отец Нельсона не додумался красиво вдоветь всю оставшуюся жизнь, а благополучно женился на бесталанной, но доброжелательной и милой женщине – глубоко равнодушной к почти уже взрослому Нельсону, зато сразу вознамерившейся подарить своему немолодому мужу нового, более перспективного наследника. Нельсон не расстроился, так как и сам переехал в типовую двухкомнатную квартиру к любимой жене и простой, как мать-земля, теще, выдюжившей в качестве презренной «разведенки» с дочкой целых семнадцать непростых лет, все это время промечтав о надежном добром сыне, наконец, обретенным в лице неожиданного зятя. Решения в семье она принимала единолично, и после окончания детьми СХШ, скороспелой свадьбы и несостоявшегося прибавления семейства, постановила безоговорочно:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.